

ТОШНОТА

1938, выдержки Дятловых от 13.10.2021, ?=??%

1. Сейчас я лягу. Я выздоровел, не стану, как маленькая девочка, изо дня в день записывать свои впечатления в красивую новенькую тетрадь. Вести дневник стоит только в одном случае — если
2. Не думаю, что ремесло историка располагает к психологическому анализу. В нашей сфере мы имеем дело только с нерасчлененными чувствами, им даются родовые наименования — например, Честолюбие или Корысть. Между тем, если бы я хоть немного знал самого себя, воспользоваться этим знанием мне следовало бы именно теперь.
3. Впрочем, в любом кафе все всегда в порядке, и в особенности в кафе «Мабли» благодаря хозяину мсье Фаскелю, на лице которого с успокоительной определенностью написано: «прохвост».
4. Я с улыбкой наблюдаю его оживление — в часы, когда его заведение пусто, пустеет и его голова. С двух до четырех в кафе никого не остается, тогда мсье Фаскель сонно делает несколько шагов, официанты гасят свет, и сознание его выключается — наедине с собой этот человек всегда спит.
5. Оттого что мысли мои не облакаются в слова, чаще всего они остаются хлопьями тумана. Они принимают смутные, причудливые формы, набегают одна на другую, и я тотчас их забываю.
6. Я часто слышу, как, оставшись в номерах одна, она тихонько мурлычет, чтобы не думать. Но целыми днями она ходит угрюмая, чуть что никнет и дуется.
7. Да, бесспорно, все это он мог делать. Но это не доказано; я начинаю думать, что доказать вообще никогда ничего нельзя. Все это частные гипотезы, опирающиеся на факты, — но я чувствую, что исходят они от меня, это просто способ обобщить мои сведения.
8. мое нутро освещено обесценивающим светом.
9. Я просто запугал его адом
10. Мой взгляд медленно и неохотно скользит вниз — на лоб, на щеки: ничего устойчивого, все зыбко. Само собой, нос, глаза и рот на месте, но все это лишено смысла, лишено даже человеческого выражения. Однако Анни и Велин находили, что у меня живая физиономия, — может, я к ней просто слишком привык. В детстве моя тетка Бижуга говорила мне: «Будешь слишком долго глядеться в зеркало, увидишь в нем обезьяну». Но должно быть, я гляделся еще дольше — то, что я вижу в зеркале, куда ниже обезьяны, это нечто на грани растительного мира, на уровне полипов. Я не отрицаю, это нечто живое, но не об этой жизни говорила Анни; я вижу какие-то легкие подергивания, вижу, как трепещет обильная, блеклая плоть. С такого близкого расстояния в особенности отвратительны глаза. Нечто стеклянностное, податливое, слепое, обведенное красным — ну в точности рыба чешуя.
11. Может, собственное лицо понять невозможно. А может, это оттого, что я один? Люди, общающиеся с другими людьми, привыкают видеть себя в зеркале глазами своих друзей. У меня нет друзей — может быть, поэтому моя плоть так оголена? Ни дать ни взять — ну да, ни дать ни взять, природа без человека.
12. Его голубая ситцевая рубаха радостным пятном выделяется на фоне шоколадной стены. Но от этого тоже тошнит. Или, вернее, ЭТО И ЕСТЬ ТОШНОТА. Тошнота не во мне: я чувствую ее там, на этой стене, на этих подтяжках, повсюду вокруг меня. Она составляет одно целое с этим кафе, а я внутри.
13. Еще с ними сидит молодой парень с песьей головой.
14. Наверно, они это делают, просто чтобы заполнить время. Но время слишком емкое, его не заполнишь. Что в него ни опустишь, все размягчается и растягивается.
15. Я должен примириться с их смертью — более того, я должен ее ЖЕЛАТЬ: я почти не знаю других таких пронзительных и сильных ощущений.

16. Есть другое счастье — где-то вовне есть эта стальная лента, узкое пространство музыки, оно пересекает наше время из конца в конец, отвергая его, прорывая его своими мелкими сухими стежками; есть другое время.
17. Это кажется неотвратимым — настолько предопределена эта музыка: ничто не может ее прервать, ничто, явившееся из времени, в которое рухнул мир; она прекратится сама, подчиняясь закономерности
18. А случилось то, что Тошнота исчезла. Когда в тишине зазвучал голос, тело мое отвердело и Тошнота прошла. В одно мгновение; это было почти мучительно — сделаться вдруг таким твердым, таким сверкающим. А течение музыки ширилось, нарастало, как смерч. Она заполняла зал своей металлической прозрачностью, расплющивая о стены наше жалкое время. Я ВНУТРИ музыки. В зеркалах перекатываются огненные шары, их обвивают кольца дыма, которые кружат, то затуманивая, то обнажая жесткую улыбку огней. Моя кружка пива вся подобралась, она утвердилась на столе: она приобрела плотность, стала необходимой. Мне хочется взять ее, ощутить ее вес, я протягиваю руку... Боже мой! Вот в чем главная перемена — в моих движениях. Взмах моей руки развернулся величавой темой, заструился сопровождением голоса Негритянки; мне показалось, что я танцую.
19. Пластинка остановилась. И темнота вошла — слащавая, нерешительная. Ее не видно, но она здесь, она отуманила лампы; в воздухе что-то сгустилось — это она. Холодно.
20. Меня все это отнюдь не прельщает: сейчас время аперитива, а я по горло сыт одушевленными предметами, собаками, людьми, всеми этими самопроизвольно шевелящимися мягкими массами.
21. Теперь афиша изодрана в клочья, простые соединявшие их по изначальному замыслу связи распались, но между искривленным ртом, каплями крови, белыми буквами, окончанием «юля» само собой возникло новое единство; словно какая-то неутомимая, преступная страсть пытается выразить себя с помощью этих таинственных знаков.
22. Но здесь даже никого не убивают — за отсутствием и убийц и жертв. Бульвар Нуара неодушевлен. Как минерал. Как треугольник. Какое счастье, что в Бувиле есть такой бульвар. Обычно такие встречаются только в столицах — в Берлине в районе Нойкельна или Фридрихсхайна, в Лондоне позади Гринвича. Это длинные, грязные, продуваемые ветром коридоры, с широкими без единого дерева тротуарами. Почти всегда они расположены на окраинах, в тех странных районах, в которых зачинается город, — вблизи товарных станций, трамвайных депо, боен, газгольдеров. Два дня спустя после дождя, когда промокший город струится теплой испариной под лучами солнца, эти улицы все еще остаются холодными, сохраняя всю свою грязь и лужи. Есть на них и такие лужи, которые не просыхают никогда или, может быть, раз в году — в августе.
23. Тошнота осталась там, в желтом свете. Я счастлив: этот холод так чист, так чиста эта ночь, разве и сам я — не волна ледяного воздуха? Не иметь ни крови, ни лимфы, ни плоти. И течь по этому длинному каналу к бледному пятну вдали. Быть — просто холодом.
24. Люси коротко стонет. Подносит руку к груди, широко открыв удивленные глаза. Нет, не в самой себе почерпнула женщина силу страдания. Она пришла к ней извне... с этого бульвара. Надо взять Люси за плечи и увести на свет, к людям, на уютные розовые улицы: там нельзя страдать с такой силой, и она обмякнет, к ней вернуться ее рассудительный вид и привычный уровень страданий.
25. Я узнал, что расцвет его деятельности пришелся на 1890 год. Он был инспектором академии. Малевал очаровательные картинки, выпустил три книги: «О популярности у древних греков» (1887), «Педагогика Роллена» (1891) и «Поэтическое завещание» в 1899 году. Умер в 1902 году, оплаканный своими подчиненными и людьми с хорошим вкусом.
26. Быть может, в начале прошлого столетия эта площадь, выложенная розовой брусчаткой и окруженная домами, создавала радостное впечатление. Сейчас есть в ней что-то сухое, неприятное, даже жутковатое. Виноват в этом дяденька на пьедестале.
27. Мы поднимаемся по лестнице. Работать мне неохота.
28. Ну и что? Не понимаю, почему он смущен. Вполне благопристойная литература. Для очистки совести перелистываю «Хитопадешу» — сплошь высокая материя.

29. Я отложил «Евгению Гранде». И принялся за работу, хоть и без энтузиазма.
30. И вдруг мне на память приходят фамилии авторов тех книг, которые он брал в последнее время: Ламбер, Ланглуа, Ларбалетрие, Латекс, Латернь. Меня вдруг осенило — я разгадал метод Самоучки: он осваивает знания в алфавитном порядке.
31. Я смотрю на него не без восхищения. Какой же волей надо обладать, чтобы медленно, упорно осуществлять такой обширный замысел. Однажды, семь лет тому назад (он сказал мне, что занимается самообразованием семь лет), он торжественно вступил в этот зал. Обвел взглядом бесчисленные тома, которыми заставлены стены, и, должно быть, сказал себе почти как Растиньяк: «А ну, познания человеческие, поглядим, кто кого!» Потом подошел, взял первую книгу на первой полке справа и открыл первую страницу со смешанным чувством благоговения, ужаса и неколебимой решимости. Сегодня он добрался до «Л». «К» после «И». «Л» после «К». От трактата о жесткокрылых, к католическому памфлету против дарвинизма, но это его нимало не смущает. Он прочел все. На складе в его голове хранится половина того, что науке известно о партеногенезе, половина всех аргументов, выдвинутых против вивисекции. Позади у него, впереди у него целый мир. И близится день, когда, закрыв последний том, взятый с последней полки слева, он скажет: «Что же теперь?»
32. Зеваю так широко, что на глазах выступают слезы. В правой руке у меня трубка, в левой — кيسет. Надо набить трубку. Но сил у меня нет. Руки висят как плети, прижимаюсь лбом к оконному стеклу.
33. Я ВИЖУ будущее. Оно здесь, на этой улице, разве чуть более блеклое, чем настоящее. Какой ему прок воплощаться в жизнь? Что это ему даст? Старуха, ковыляя, уходит дальше, останавливается, заправляет седую прядь, выбившуюся из-под косынки. Она идет, она была там, теперь она здесь... Не пойму, что со мной — вижу я ее жесты или предвижу? Я уже не отличаю настоящего от будущего, и, однако, что-то длится, что-то постепенно воплощается, старуха плетется по пустынной улице, переставляя грубые мужские ботинки. Вот оно время в его наготе, оно осуществляется медленно, его приходится ждать, а когда оно наступает, становится тошно, потому что замечаешь, что оно давно уже здесь.
34. Но новизна эта тусклая, заезженная, не способная удивить.
35. Спокойно. Спокойно. Вот я уже не чувствую, как скользит, задевая меня, время.
36. Но эта радость давно уже истерлась. Неужели сегодня она возродится вновь?
37. С этой площадью в Мекнесе, хотя я ходил по ней каждый день, еще проще — я вообще ее больше не вижу. У меня осталось от нее смутное чувство, что она была прелестна, да еще эти четыре слова, которые слились в одно: прелестная площадь в Мекнесе. Конечно, если я закрою глаза или мутным взглядом уставлюсь в потолок, я могу восстановить ту сцену: вдали дерево, и на меня бежит какая-то темная, коренастая тень. Впрочем, все это я выдумал по ходу дела. Марокканец был высокий, сухощавый, да и увидел-то я его, только когда он меня коснулся. Стало быть, я все еще ЗНАЮ, что он высокий и сухощавый — кое-какие краткие сведения в моей памяти сохранились. Но я ничего больше не вижу: сколько я ни роюсь в прошлом, я извлекаю из него только обрывочные картинки, и я не знаю толком, что они означают, воспоминания это или вымыслы.
38. Однако на сотню мертвых историй сохранялись одна-две живые. Эти я вызываю в памяти с осторожностью, не часто, чтобы они не износились. Выужу одну, передо мной воскреснет обстановка, действующие люди, их позы. И вдруг стоп: я почувствовал потертость — сквозь основу чувств уже проглядывает слово. Я угадываю: это слово вскоре займет место многих дорогих мне образов. Я сразу останавливаюсь, начинаю думать о другом — не хочу перетруждать свои воспоминания. Но тщетно — в следующий раз, когда я захочу их оживить, многие из них уже омертвеют.
39. Никогда еще я не испытывал с такой силой, как сегодня, ощущения, что я лишен потайных глубин, ограничен пределами моего тела, легковесными мыслями, которые пузырьками поднимаются с его поверхности. Я леплю воспоминания из своего настоящего. Я отброшен в настоящее, покинут в нем. Тщетно я пытаюсь угнаться за своим прошлым, мне не вырваться из самого себя.

40. — Ах, мсье, вам повезло. Если верить тому, что говорят люди, путешествия — лучшая школа. Вы согласны, мсье?
41. — Как по-вашему, можно вслед за Паскалем повторить, что обычаи — это вторая натура?
42. — Вот и я так думаю, мсье. Но я себе не доверяю — для этого надо прочитать все.
43. Но через полминуты я вижу, что его распирает неудержимый восторг — он лопнет, если не выскажется.
44. В общем, я воображал, что в известные минуты моя жизнь приобретала редкий и драгоценный смысл. И для этого не было нужды в каких-то особых обстоятельствах, нужна была просто некоторая четкость.
45. Что-то начинается, чтобы прийти к концу: приключение не терпит длительности; его смысл — в его гибели. К этой гибели, которая, быть может, станет и моей, меня влечет неотвратимо. И кажется, что каждое мгновение наступает лишь затем, чтобы потянуть за собой те, что следуют за ним.
46. А мысль, неизреченная, все здесь. Она невозмутимо ждет. И мне кажется, что она говорит: Вот как? Вот, оказывается, ЧЕГО ты хотел? Ну так этого-то у тебя как раз никогда и не было (вспомни: ты просто морочил себя игрой слов, называл приключениями мишуру странствий, любовь продажных девок, потасовки, побрякушки) и никогда не будет, ни у тебя, ни у кого другого». Но почему? ПОЧЕМУ?
47. Пока живешь, никаких приключений не бывает. Меняются декорации, люди приходят и уходят — вот и все. Никогда никакого начала. Дни прибавляются друг к другу без всякого смысла, бесконечно и однообразно. Время от времени подбиваешь частичный итог, говоришь себе: вот уже три года я путешествую, три года как я в Бувиле. И конца тоже нет — женщину, друга или город не бросают одним махом. И потом все похоже — будь то Шанхай, Москва или Алжир, через полтора десятка лет все они на одно лицо. Иногда — редко — вникаешь вдруг в свое положение: замечаешь, что тебя заарканила баба, что ты влип в грязную историю. Но это короткий миг. А потом все опять идет по-прежнему, и ты снова складываешь часы и дни. Понедельник, вторник, среда. Апрель, май, июнь. 1924, 1925, 1926.
48. Для нас названный персонаж — уже герой истории. Его мрачность, его денежные заботы куда драгоценнее наших — их позолотил свет грядущих страстей.
49. Парк был безлюден и гол. Но... как бы это объяснить? У него был какой-то необычный вид, он мне улыбался. Мгновение я постоял, прислонившись к калитке, и вдруг понял: сегодня воскресенье. Оно ощущалось в деревьях, в лужайках, как едва заметная улыбка. Это невозможно описать, разве что быстро произнести: «Это городской парк, зимой, воскресным утром».
50. Но в конце 1873 года Национальное собрание объявило, что общественное благо требует возвести церковь на вершине Монмартрского холма.
51. Допустимо ли, чтобы люди избранного общества каждое воскресенье шлепали по грязи в Сен-Ре или Сен-Клодьен, чтобы слушать мессу вместе с лавочниками?
52. Мне очень нравилась эта лавчонка, вид у нее был циничный и упрямый, в двух шагах от самой дорогостоящей французской церкви она нахально напоминала о правах паразитов и грязи.
53. Сдается мне, перед ним все робеют только потому, что он всегда безмолвствует.
54. Жители Зеленого Холма отличаются какой-то не поддающейся определению невзрачностью и дряхлостью. Плечи у них узкие, а на помятых лицах выражение спеси. Вот этот толстяк, ведущий за руку ребенка, — я готов пари держать, он с Холма: лицо у него серое, галстук болтается веревкой.
55. возносится уродливая белая громада церкви Святой Цецилии: меловая белизна на фоне темного неба; под защитой этих сверкающих стен она хранит в своих недрах каплю ночной тьмы.
56. улыбки-близнецы в силу некоего остаточного магнетизма еще секунду-другую держатся на губах у обоих.
57. Но пожалуй, с меня хватит, я вдоволь нагляделся на розовые лысины, на ничтожные, благовоспитанные, стертые лица.

58. Маклер сел против бритого, несчастного с виду старика. Бритый старик сразу начинает что-то рассказывать. Маклер его не слушает, он корчит гримасы и дергает себя за бороду. Они вообще никогда не слушают друг друга.
59. Они жадно ждали того часа сладостных сумерек, когда можно расслабиться, раскрепоститься, того часа, когда экран, сверкая, как белая галька под водой, будет говорить за них, за них мечтать.
60. Когда я вышел из пивной «Везелиз», было около трех: во всем своем отяжелевшем теле я чувствовал наступление второй половины дня. Не моего дня, а их, — второй половины дня, которую сто тысяч бувильцев проживут сообща.
61. Тщетное желание: что-то в них останется зажатым — они слишком боятся, как бы им не испортили их любимого воскресенья. Очень скоро, как и каждое воскресенье, они будут разочарованы: фильм окажется глупым, сосед будет курить трубку, сплевывая на пол себе под ноги, или Люсьен будет не в духе, слова ласкового не скажет, или, как нарочно, именно сегодня, когда в кои-то веки выбрались в кино, опять схватит межреберная невралгия. Очень скоро, как и каждое воскресенье, в темном зале начнут нарастать глухие приступы мелочной злобы.
62. Толпа была более разношерстной, чем утром. Казалось, все эти люди уже не в силах соблюдать безупречную социальную иерархию, которой они так гордились до обеда. Теперь бок о бок шли коммерсанты и чиновники; они мирились с тем, что с ними рядом идут, иногда даже наталкиваются на них и оттесняют, мелкие служащие невзрачного вида. В теплой массе толпы растворились аристократизм, принадлежность к избранному обществу, к профессиональным группам. Остались просто люди, они больше не представляли.
63. А сейчас они хотят расхотеть себя как можно меньше, хотят, экономя жесты, слова, мысли, плыть по течению. В их распоряжении всего один день, чтобы стереть морщины, гусиные лапки, горькие складки — плоды рабочей недели. Всего один день. Они чувствовали, как минуты утекают у них между пальцами. Успеют ли они набраться молодости, которой хватило бы, чтобы завтра начать сначала? Они дышали полной грудью — ведь морской воздух бодрит; их дыхание, равномерное и глубокое, как у спящих, одно только и свидетельствовало о том, что они живы. Я шел крадучись, я не знал, что мне делать с моим крепким и свежим телом среди этой трагической толпы, которая отдыхала.
64. В этот зыбкий час что-то предвещало вечер. У воскресенья уже появилось прошлое.
65. На мгновение я подумал: уж не полюблю ли я людей. Но в конце концов, это ведь их воскресенье, не мое.
66. Окончившееся воскресенье оставило у них привкус пепла, их мысли уже обращены к понедельнику. Но для меня не существует ни понедельников, ни воскресений — просто дни, которые толкуются в беспорядке, а потом вдруг вспышки, вроде нынешней.
67. Ничто не изменилось, и, однако, все существует в каком-то другом качестве. Не могу это описать: это как Тошнота, только с обратным знаком, словом, у меня начинается приключение, и когда я спрашиваю себя, с чего я это взял, я понимаю, в чем дело: Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ СОБОЙ И ЧУВСТВУЮ, ЧТО Я ЗДЕСЬ; ЭТО Я прорежаю темноту, и я счастлив, точно герой романа.
68. Не знаю, в самом ли деле мир вдруг уплотнился или это я слил звуки и формы в нерасторжимом единстве и даже представить себе не могу, что то, что меня окружает, может быть чем-то еще, а не тем, что оно есть.
69. Я не спешу продолжать путь. Мне кажется, я достиг высшей точки счастья. В Марселе, Шанхае, в Мекнесе чего я только не делал, чтобы добиться такой полноты чувства. А сегодня, когда я уже ничего не жду, когда я возвращаюсь домой после бесплодного воскресенья, — оно тут как тут.
70. В эту минуту над морем звучит музыка с плывущих кораблей; во всех городах Европы зажигаются огни; коммунисты и нацисты стреляют на улицах Берлина; безработные слоняются по Нью-Йорку; женщины в жарко натопленных комнатах красят ресницы за своими туалетными столиками. А я — я здесь, на этой безлюдной улице, и каждый выстрел из окна в Нойкельне, каждая кровавая икота уносимых раненых, каждое мелкое и точное

движение женщин, накладывающих косметику, отдается в каждом моем шаге, в каждом биении моего сердца.

71. Неужели я ошибся? Мне кажется, я не перенесу такого разочарования.
72. Из глубины этого кафе что-то возвращается вспять к разрозненным мгновениям нынешнего воскресенья и сливает их воедино, придавая им смысл: я пережил этот день для того, чтобы под конец прийти сюда, прижаться лбом к этому стеклу и смотреть на это тонкое лицо, расцветающее на фоне гранатовой портьеры. Все замерло, моя жизнь замерла: это громадное стекло, тяжелый, синий, как вода, воздух, это жирное, белое растение в водной глубине и я сам — мы образуем некое единство, неподвижное и законченное, я счастлив.
73. Надо писать первое, что просится на кончик пера, не выбирая слов.
74. Чувство приключения, безусловно, не зависит от событий — доказательство налицо. Это скорее способ, каким нанизываются мгновения. Происходит, по-моему, вот что: ты вдруг начинаешь чувствовать, что время течет, что одно мгновение влечет за собой другое, а это другое — третье и так далее; что каждое мгновение исчезает, что бесполезно пытаться его удержать и т.п. И тогда это свойство мгновений ты переносишь на то, что происходит внутри этих мгновений; то, что принадлежит форме, переносишь на содержание.
75. Если память мне не изменяет, это зовется необратимостью времени. Чувство приключения — это, пожалуй, попросту и есть чувство необратимости времени. Только почему оно присуще нам не всегда? Может, время не всегда необратимо? Бывают минуты, когда кажется, что ты можешь делать что хочешь: забежать вперед, возвратиться вспять — значения не имеет, а в другие минуты петли стягиваются, и вот эти минуты упускать нельзя, потому что начать сначала невозможно.
76. Она улыбалась. Вначале стерлось воспоминание об ее глазах, потом об ее удлинённом теле. Дольше всего я старался сохранить воспоминание об ее улыбке, потом, три года назад, стерлось и оно. Недавно, когда я взял письмо из рук хозяйки отеля, оно вдруг вернулось: мне показалось, что я вижу улыбающуюся Анни. Я и сейчас пытаюсь вспомнить ее улыбку, мне нужно почувствовать всю ту нежность, что я питаю к Анни, — эта нежность здесь, рядом, совсем близко, она вот-вот прорежется. Но нет, улыбка не возвращается — кончено. Внутри у меня пустота и сушь.
77. А потом, когда Анни сразу, без раздумий, бросила меня, три года рухнули в прошлое. Я даже не страдал, я был опустошен. Потом время потекло дальше, и пустота стала разрастаться. Потом в Сайгоне, когда я решил вернуться во Францию, все, что еще сохранялось от прошлого — чужеземные лица, площади, набережные длинных рек, — все кануло в небытие. И теперь мое прошлое — громадный провал. А мое настоящее — вот эта официантка в черной блузке, замечтавшаяся у прилавка, вот этот человек. Все, что я знаю о своей жизни, мне кажется, я вычитал из книг.
78. Мягкий свет; люди сидят по домам, они, конечно, тоже зажгли лампы. Они читают или смотрят в окно на небо. Для них... для них все иначе. Они состарились по-другому. Они живут среди завещанного добра, среди подарков, и каждый предмет их обстановки — воспоминание. Каминные часы, медали, портреты, ракушки, пресс-папье, ширмы, шали. Их шкафы битком набиты бутылками, отрезами, старой одеждой, газетами — они сохранили все. Прошлое — это роскошь собственника.
79. Вот он опять на меня смотрит. Сейчас он со мной заговорит, я весь ошетинился. Никакой симпатии мы друг к другу не чувствуем — просто мы похожи, в этом все дело. Он одинок, как я, но глубже погряз в одиночестве. Вероятно, он ждет твоей Тошноты или чего-нибудь в этом роде. Стало быть, теперь уже есть люди, которые меня узнают: поглядев на меня, они думают: «Этот из наших». Ну так в чем дело? Чего ему надо? Он должен понимать: помочь мы ничем друг другу не можем. Люди семейные сидят по домам посреди своих воспоминаний. А мы, два беспамятных обломка, — здесь. Если он сейчас встанет и обратится ко мне, я взорвусь.
80. Потрепанное, изборожденное жизнью и страстями лицо. Но доктор понял суть жизни, обуздал свои страсти.
81. Глаза его внушают робость, большие глаза, черные и властные.

82. Маленький человечек поднял голову и облегченно улыбается.
83. Он смотрит на человечка своим хищным взглядом.
84. прикидываясь близоруким, доктор меряет меня прищуренным взглядом — он обдумывает, к какому разряду меня отнести. К разряду психов? Или к разряду проходимцев?
85. Повезло доктору — увидев его еще издали, всякий скажет: вот человек, который страдал и который пожил в свое удовольствие.
86. Доктор обладает опытом. Обладать опытом — его профессия; врачи, священники, судьи и офицеры знают человека наизусть, словно сами его сотворили.
87. Мне стыдно за мсье Ахилла. Мы с ним два сапога пара, мы должны быть заодно против них. А он меня предал и перешел на их сторону: он искренне верит — верит в Опыт. Не в свой, не в мой. А в опыт доктора Роже. Еще недавно мсье Ахилл чувствовал себя странным, ему казалось, что он одинок; а теперь он знает: таких, как он, много, очень много, доктор Роже встречал этих людей, он может рассказать мсье Ахиллу историю каждого из них и кто из них чем кончил. Мсье Ахилл всего-навсего казус, частный случай, который легко сводится к некоторым общим понятиям.
88. И вот к сорока годам они нарекают опытом свои мелкие пристрастия и небольшой набор пословиц и начинают действовать, как торговые автоматы: сунешь монетку в левую щелку — вот тебе два-три примера из жизни в упаковке из серебряной фольги, сунешь монетку в правую щелку — получай ценные советы, вязнущие в зубах, как ириски.
89. Такой ценой я и сам мог бы оказаться для многих желанным гостем, и обо мне говорили бы, что я Великий путешественник перед лицом Всевышнего.
90. Только все дело в том, что эти разговоры набили мне оскомину еще в юности. Правда, вырос я не в семье профессионалов. Но существуют ведь и любители. Секретари, служащие, торговцы, те, кто в кафе слушают других; к сорока годам их распирает опыт, который они не могут сбросить на сторону. По счастью, они наплодили детей, их-то они и заставляют потреблять этот опыт, не сходя с места. Они хотели бы внушить нам, что их прошлое не пропало даром, что их воспоминания потихоньку сгустились, обратившись в Мудрость. Удобное прошлое! Карманное прошлое, книжица из золотой библиотеки, полная прописных истин. «Поверьте мне, я говорю на основании опыта, всему, что я знаю, меня научила жизнь». Да разве Жизнь взялась бы думать за них? Все новое они объясняют с помощью старого, а старое — с помощью событий еще более древних, как те историки, которые Ленина изображают русским Робеспьером, а Робеспьера — французским Кромвелем: в конечном счете они так ничего и не поняли... За их спесью угадывается угрюмая лень; замечая только, как одна видимость сменяет другую, они зевают и думают: ничто не ново под луною. «Старый псих» — и доктор Роже смутно вспоминает других старых психов, не помня ни одного из них в отдельности. Что бы ни выкинул мсье Ахилл, мы не должны удивляться: ВСЕ ПОНЯТНО — старый псих!
91. Он вовсе не старый псих — ему страшно. Чего он боится? Когда ты хочешь что-то понять, ты оказываешься с этим «что-то» лицом к лицу, совсем один, без всякой помощи, и все прошлое мира ничем тебе помочь не может. А потом это «что-то» исчезает, и то, что ты понял, исчезает вместе с ним. Питаться общими соображениями куда отраднее. К тому же профессионалы, да и любители тоже, в конце концов всегда оказываются правы.
92. И вдруг мне становится ясно: этот человек скоро умрет. Он наверняка это знает — ему довольно посмотреться в зеркало: с каждым днем он все больше похож на свой будущий труп. Вот что такое их опыт, вот почему я часто говорю себе: от их опыта несет мертвечиной, это их последнее прибежище. Доктор очень хотел бы верить в этот свой опыт, он хотел бы скрыть от себя невыносимую правду: что он один и нет у него ни умудренности, ни прошлого, и разум его мутнеет, и тело разрушается. И вот он старательно возвел, благоустроил, обставил свой маленький компенсаторный бред: он уверяет себя, будто он прогрессирует.
93. Написал четыре страницы. После этого — долгое мгновение счастья. Не вдаваться в размышления о ценности Истории. А то она может опротиветь. Помнить, что маркиз де Рольбон в настоящее время — единственное оправдание твоего существования.

94. Я искал вокруг себя какую-нибудь твердую опору, надежный заслон против подобных мыслей. Такого не нашлось — мало-помалу пелена тумана прорвалась, но какое-то беспокойство еще витало в воздухе. Пожалуй, не прямая угроза, а что-то размытое, прозрачное. Но именно оно и внушало страх.
95. При виде его у меня на мгновение мелькнула надежда: может, вдвоем легче будет пережить этот день. Но в обществе Самоучки только кажется, что ты не один.
96. Мир ждал, съездившись, затаив дыхание, — ждал своего кризиса, своей Гошноты, как недавно мсье Ахилл.
97. По-моему, мир только потому не меняется до неузнаваемости за одну ночь, что ему лень.
98. взгляд мой перескакивал с одного предмета на другой, чтобы захватить их врасплох, остановить в разгар их превращения. Вид у них был какой-то неестественный, но я настойчиво убеждал себя: «Это газовый рожок, это водоразборная колонка» и пытался властью своего взгляда вернуть им их повседневный вид.
99. они пытались понять, не явится ли что-нибудь за мной следом. Стало быть, они как я, им тоже страшно?
100. а их приковывала друг к другу темная власть их желаний, они составляли пару.
101. Площадь провинциального города под дождем.
102. После этого все пойдет по-другому, мне уже не будет страшно.
103. Голый до пояса, с зеленоватым, как это и положено мертвецу, торсом, холостяк лежал на смятой постели.
104. Этот человек жил только для себя. Его постигла суровая и заслуженная кара — никто не пришел закрыть ему глаза на его смертном одре. Эта картина была мне последним предупреждением — еще не поздно, я еще могу вернуться. Но если, не внемля предостережению, я продолжу свой путь, да будет мне известно: в салоне, куда я сейчас войду, на стенах висит полтораста с лишним портретов; если не считать нескольких молодых людей, безвременно отнятых у семьи, и монахини, начальницы сиротского приюта, ни один из тех, кто изображен на этих портретах не умер холостяком, ни один не умер бездетным, не оставив завещания, не приняв последнего причастия. В этот день, как и в прочие дни, соблюдая все приличия по отношению к Богу и к ближним, эти люди тихонько отбыли в страну смерти, чтобы потребовать там свою долю вечного блаженства, на которое имели право. Потому что они имели право на все: на жизнь, на работу, на богатство, на власть, на уважение и в конечном итоге — на бессмертие.
105. Но его суждение пронзало меня насквозь как меч, оно ставило под сомнение самое мое существование. И он был прав, я всегда это сознавал: я не имел права на существование. Я появился на свет случайно, я существовал как камень, как растение, как микроб. Моя жизнь развивалась стихийно, в самых разных направлениях. Иногда она посылала мне невнятные сигналы, в других случаях я слышал только смутный, ничего не значащий шум.
106. А для этого безупречного красавца, ныне покойного Жана Пакома, сына Пакома из Комитета Национальной обороны, все было по-другому: биение его сердца и глухие шумы всех его прочих органов являлись ему в форме сиюминутных, отчетливых прав. В течение шестидесяти лет он неуклонно осуществлял свое право на жизнь. Великолепные серые глаза! Ни разу ни малейшее сомнение не замутило их. И ни разу Паком не ошибся.
107. Он всегда выполнял свой долг, каждый свой долг — сыновний долг, долг супруга, отца, начальника. И неуклонно требовал своих прав: ребенком — права на хорошее воспитание в дружной семье, права наследника незапятнанного имени и процветающего дела; супругом — права на заботу и нежное внимание, отцом — права на почтение, начальником — права на безропотное повиновение. Ибо право всегда обратная сторона долга.
108. На сон грядущий Паком наверняка прочитывал несколько страниц своего «старинны Монтея» или оду Горация на латыни. Иногда, чтобы быть в курсе, он, вероятно, брал почитать какой-нибудь современный опус.
109. Он ничего не требовал, в этом возрасте уже нет желаний.
110. О чем он думал? О своем безукоризненном прошлом, которое давало ему право судить обо всем и во всем оставлять за собой последнее слово? Я был на днях недалек от истины: Опыт

— это не просто последнее прибежище, заслон от смерти. Это также и право — право стариков.

111. Я не был ни дедом, ни отцом, ни даже супругом. Я не голосовал, я платил какой-то жалкий налог — я не мог похвалиться ни правами налогоплательщика, ни правами избирателя, ни даже скромным правом респектабельности, которое двадцать лет покорности обеспечивают чиновнику. Мое существование начало меня всерьез смущать. Уж не видимость ли я, и только?
112. Парротен научил меня понимать, что такое руководитель, «начальник». Он обладал какими-то флюидами, ей-богу. Он нас зажигал, за ним мы пошли бы на край света. И при этом он был джентльмен — он владел огромным состоянием и значительную его часть тратил на помощь нуждающимся студентам
113. В присутствии этого ученого мужа, лишённого даже тени чванства, каждый сразу чувствовал себя легко. Пожалуй, доктора можно было бы даже принять за простака, если бы не одухотворенный взгляд.
114. И если среди благовоспитанных юнцов попадался упрямец, Парротен проявлял к нему особенный интерес. Он вызывал его на разговор, внимательно слушал, подбрасывал ему мысли, темы для раздумий. И кончалось непременно тем, что в один прекрасный день молодой человек, полный благородных идей, измученный враждебностью близких, устав размышлять наедине с собой и вопреки всем, просил Патрона принять его с глазу на глаз и, запинаясь от смущения, изливал ему свои самые заветные мысли, свое негодование, свои надежды. Парротен прижимал его к сердцу. «Я понимаю вас, я понял вас с первого дня», — говорил доктор. Они беседовали, Парротен заходил дальше, еще дальше, так далеко, что молодому человеку трудно было поспевать за ним. После нескольких бесед такого рода все замечали, что молодой бунтарь явно выздоравливает.
115. понимал, наконец, замечательную роль элиты.
116. Наверняка на смертном одре, в тот час, когда со времен Сократа принято произносить какие-нибудь возвышенные слова, он сказал жене то же, что один из моих дядьев сказал своей, которая двенадцать ночей подряд не отходила от его постели: «Тебя, Тереза, я не благодарю, ты просто исполнила свой долг». Перед человеком, который дошел до таких высот, нельзя не снять шляпу.
117. Но, готовясь перейти в бессмертие, они вверили себя именитым художникам, чтобы те деликатно подвергли их лица тому же углублению, бурению, ирригации, посредством которых сами они изменили море и поля вокруг Бувиля. Так с помощью Ренода и Бордюрена они подчинили Природу — вовне и в самих себе.
118. Я часто говорил: повелевать — это не право избранных, это их первоочередной долг. Господа, заклинаю вас, восстановим принцип власти!
119. Я прошел от начала до конца весь длинный зал Бордюрена-Ренода. Потом обернулся. Прощайте, прекрасные, изысканные лилии, покоящиеся в маленьких живописных святилищах, прощайте, прекрасные лилии, наша гордость и оправдание нашего бытия. Прощайте, Подонки.
120. И устало сказал себе: «Каким образом я, у которого не хватает сил удержать собственное прошлое, надеюсь спасти прошлое другого человека?»
121. Я в тоске огляделся вокруг: настоящее, ничего, кроме сиюминутного настоящего. Легкая или громоздкая мебель, погрязшая в своем настоящем, стол, кровать, зеркальный шкаф — и я сам. Мне приоткрывалась истинная природа настоящего: оно — это то, что существует, а то, чего в настоящем нет, не существует. Прошлое не существует. Его нет. Совсем. Ни в вещах, ни даже в моих мыслях. Конечно, то, что я утратил свое прошлое, я понял давно. Но до сих пор я полагал, что оно просто оказалось вне поля моего зрения. Прошлое казалось мне всего лишь выходом в отставку, это был иной способ существования, каникулы, праздность; каждое событие, сыграв свою роль до конца, по собственному почину послушно укладывалось в некий ящик и становилось почетным членом в кругу братьев-событий — так мучительно было представить себе небытие. Но теперь я знал: все на свете является только тем, чем оно кажется, а ЗА НИМ... ничего.

122. Маркиз де Рольбон был моим союзником: он нуждался во мне, чтобы существовать, я — в нем, чтобы не чувствовать своего существования. Мое дело было поставлять сырье, то самое сырье, которое мне надо было сбыть, с которым я не знал, что делать, а именно существование, МОЕ существование. Его дело было воплощать.
123. Все время маяча передо мной, он завладел моей жизнью, чтобы ВОПЛОТИТЬ через меня свою. И я переставал замечать, что существую, я существовал уже не в своем обличье, а в обличье маркиза. Это ради него я ел, дышал, каждое мое движение приобретало смысл вне меня — вон, там, прямо передо мной, в нем; я уже не видел своей руки, выводящей буквы на бумаге, не видел даже написанной мной фразы — где-то по ту сторону бумаги, за ее пределами, я видел маркиза — маркиз потребовал от меня этого движения, это движение продлеvalo, упрочивало его существование. Я был всего лишь способом вызвать его к жизни, он — оправданием моего существования, он избавлял меня от самого себя. Что я буду делать теперь?
124. Господи, как навязчиво существуют сегодня вещи!
125. Я емь, я существую, я мыслю, стало быть, существую, я существую, потому что мыслю, а зачем я мыслю? Не хочу больше мыслить, я емь, потому что мыслю, что не хочу быть, я мыслю, что я... потому что... Брр!
126. Держать газету — два существования лицом к лицу, вещи существуют лицом к лицу, я бросаю газету. Вот дом, дом существует; иду вперед вдоль стены, вдоль долгой стены, я емь, я существую перед стеной, еще шаг, стена существует
127. Ничего нового. Существовал.
128. Раздавлена — из ее брюха вылезают маленькие белые потроха; я избавил ее от существования. — Я оказал ей услугу, — сухо говорю я Самоучке.
129. Через четыре дня я увижу Анни: на сегодняшний день это единственный смысл моей жизни. А дальше что? Что будет, когда Анни уедет?
130. они пойдут на работу. А я не пойду никуда, у меня работы нет.
131. — Обычно, — говорит он мне с улыбкой, — я прихожу сюда с книгой. Хотя врач мне это не советует: за чтением глотают слишком быстро, не разжевывая.
132. Я весь внимание: посочувствовать чужим неприятностям — ничего лучшего мне не надо, это меня отвлечет. У меня самого никаких неприятностей — я богат как рантье, начальства у меня нет, жены и детей тоже; я существо — вот моя единственная неприятность. Но это неприятность столь расплывчатая, столь метафизически отвлеченная, что я ее стыжусь.
133. Просто мы были молоды — а сейчас я в том возрасте, когда умиляет чужая молодость. Но я не умиляюсь.
134. Они меня трогают, это правда, но в то же время они мне чем-то противны. Они так далеки от меня, они расслабились в тепле, они лелеют в душе общую мечту, такую сладкую, такую хилую. Им хорошо, они доверчиво смотрят на эти желтые стены, на людей, им нравится мир какой он есть, именно такой, какой есть, и каждый из них пока черпает смысл своей жизни в жизни другого. Скоро у них будет одна жизнь на двоих, медленная, тепловатая жизнь, лишенная всякого смысла — но они этого не заметят.
135. Да, они счастливы. Ну, а что дальше?
136. — Ну вот, а я равнодушен к скульптуре, — говорю я сочувственно. — Ах, мсье, увы, я также. И к музыке, и к балету. А ведь я не такой уж необразованный человек. Не могу понять, в чем дело: я видел молодых людей, которые не знали и половины того, что знаю я, а видно было, что, стоя перед картиной, они испытывают наслаждение.
137. — Иногда мне приходят на ум разные — не смею назвать их мыслями. Любопытная штука — вот я сижу, читаю, и вдруг, сам не знаю, откуда что берется, меня точно осеняет. Вначале я не обращал на это внимания, а потом решил вот обзавестись записной книжкой. Он умолк и смотрит на меня — он ждет. — А-а, вот оно что! — говорю я. — Конечно, все эти изречения еще не окончательные, мсье. Мое образование пока не закончено. — Он берет книжицу дрожащими руками, он взволнован до глубины души. — Вот тут как раз насчет живописи. Я буду счастлив, если вы позволите мне прочесть.

138. Совсем нигде не встречали? Стало быть, мсье, — говорит он, помрачнев, — эта мысль неверная. Будь она верной, она уже пришла бы кому-нибудь в голову.
139. Он записывает в книжицу под своим изречением имя Ренана. — Стало быть, мое мнение совпадает с мнением Ренана. Я пока записал имя карандашом, — ликуя объясняет он, — но вечером обведу его красными чернилами.
140. Он думает о том, что старость мудра, а юность прекрасна
141. После того как они переспят друг с другом, им придется найти что-нибудь другое, чтобы замаскировать чудовищную бессмыслицу своего существования.
142. Я окидываю взглядом зал. Ну и фарс! Все эти люди с самым серьезным видом восседают на своих местах и едят. Да нет, не едят — они подкрепляют свои силы, чтобы успешно выполнять лежащие на них обязанности. У каждого из них свой конек, и это не дает им почувствовать, что они существуют; нет среди них ни одного, кто не считал бы, что без него не может обойтись кто-то или что-то. Разве не сказал однажды Самоучка: «Никто не мог бы успешнее Нусапье предпринять такой обобщающий труд». Каждый из них занят каким-то крохотным делом, которое никто не мог бы делать успешнее. Никто не может успешнее вон того коммивояжера распродать зубную пасту «Сван». Никто не может успешнее этого интересного молодого человека шарить под юбкой своей соседки. Я тоже один из них, и, глядя на меня, они, должно быть, думают, что никто успешнее меня не сделает то, что я делаю. Но я-то ЗНАЮ. Я держусь как ни в чем не бывало, но я знаю, что существую и что они существуют. И если бы я владел искусством убеждать, я подсел бы к этому седовласому красавцу и объяснил бы ему, что такое существование. Представив, какое у него сделалось бы при этом лицо, я разражаюсь хохотом.
143. — Просто я думаю, — говорю я ему смеясь, — что все мы, какие мы ни на есть, едим и пьем, чтобы сохранить свое драгоценное существование, а между тем в существовании нет никакого, ну ни малейшего смысла.
144. — Автор в своих выводах склоняется к сознательному оптимизму, — тоном утешителя говорит Самоучка. — Жизнь приобретает смысл, если мы сами придаем его ей. Сначала надо начать действовать, за что-нибудь взяться. А когда потом станешь размышлять, отступить поздно — ты уже занят делом. А вы что думаете на этот счет, мсье?
145. Я, мсье, — потупив глаза, говорит Самоучка, — в Бога не верю. Его существование опровергнуто Наукой. Но в концентрационном лагере я научился верить в людей.
146. Как-то раз — нас еще только начали запирают в этот сарай — теснота в нем была такая, что я чуть не задохнулся, и вдруг меня захлестнула невероятная радость, я едва не упал в обморок — я почувствовал, что люблю этих людей, как братьев, я хотел их всех обнять. С тех пор каждый раз, оказавшись в этом сарае, я испытывал такую же радость.
147. И все только потому, что цыпленок оказался холодным. Впрочем, я и сам оставался холодным, и это было самым мучительным; я хочу сказать, что внутри я оставался таким, каким был последние полтора суток, — совершенно холодным, оледенелым.
148. я чувствовал такое отчаянное одиночество, что хотел было покончить с собой. Удержала меня мысль, что моя смерть не опечалит никого, никого на свете и в смерти я окажусь еще более одиноким, чем в жизни.
149. Когда утром я иду на службу, в свою контору, впереди меня, позади меня другие люди тоже спешат на службу. Я их вижу, будь я посмелее, я бы им улыбался, я думаю о том, что я социалист, что все они — цель моей жизни, моих усилий, но пока еще они этого не знают. Для меня это праздник, мсье.
150. Чем я виноват, если во всем, что он говорит, я мимоходом узнаю заемные мысли, цитаты?
151. Гуманист радикального толка — это в первую очередь друг чиновников. Главная забота так называемого «левого» гуманиста — сохранить человеческие ценности; он не состоит ни в какой партии, потому что не хочет изменять общечеловеческому, но его симпатии отданы обездоленным; служению обездоленным посвящает он свою блестящую классическую культуру. Как правило, это вдовец с красивыми глазами, всегда увлажненными слезой, — на всех юбилеях он плачет. Он любит кошек, собак, всех высших млекопитающих. Писатель-коммунист любит людей со времени второго пятилетнего плана. Он карает их, потому что их

любит. Стыдливый, как это свойственно сильным натурам, он умеет скрывать свои чувства, но за неумолимым приговором поборника справедливости умеет взглядом, интонацией дать почувствовать свою страстную, терпкую и нежную любовь к собратьям. Гуманист-католик, последыш, младший в семье гуманистов, о людях говорит зачарованно. Любая самая скромная жизнь, говорит он, жизнь лондонского докера или работницы сапожной фабрики — это волшебная сказка! Он избрал ангельский гуманизм, в назидание ангелам он и пишет длинные романы, печальные и красивые, которые часто удостаиваются премии «Фемина».

152. Это все актеры на первых ролях. Но есть другие, тьма других: философ-гуманист, который склоняется над своими братьями как старший и чувствует меру своей ответственности; гуманист, который любит людей такими, какие они есть, и гуманист, который их любит такими, какими они должны быть; тот, кто хочет их спасти, заручившись их согласием, и тот, кто спасет их против их воли; тот, кто желает создать новые мифы, и тот, кто довольствуется старыми; тот, кто любит в человеке его смерть, и тот, кто любит в нем его жизнь; гуманист-весельчак, который всегда найдет случай посмеяться, и мрачный гуманист, которого чаще всего можно встретить на похоронах. Все они ненавидят друг друга — само собой, не как людей, а как отдельную личность. Но Самоучка этого не знает: он их всех свалил в одну кучу, запихав, как котов, в общий кожаный мешок, — они там когтят друг друга в кровь, но он ничего не замечает
153. — Неужели вы стали бы писать на необитаемом острове? Разве люди пишут не для того, чтобы их прочли?
154. Быть может, вы мизантроп?
155. Я знаю, что кроется за этой лицемерной попыткой примирения. В общем-то, он требует от меня самой малости — всего только согласиться навесить на себя ярлык. Но это ловушка: если я соглашусь, Самоучка восторжествует; меня тут же переименуют, обработают, обойдут, ибо гуманизм подхватывает и переплавляет в единый сплав все возможные точки зрения. Спорить с гуманизмом впрямую — значит играть ему на руку; он живет за счет своих противников. Есть племя упрямых, ограниченных людей, настоящих разбойников, которые всякий раз ему проигрывают — любую их крайность, самое злобное неистовство гуманизм переварит, превратив в белую, пенистую лимфу. Он переварил уже антиинтеллектуализм, манихейство, мистицизм, пессимизм, анархизм, эгоизм: все они превратились в различные этапы развития мысли, в ее незавершенные формы, все оправдание которых только в нем, в гуманизме. В этой теплой компании найдется место и для мизантропов; мизантропия — это не что иное, как диссонанс, необходимый для общей гармонии. Мизантроп — это человек, и, стало быть, гуманист в какой-то мере должен быть мизантропом. Но это мизантроп по науке, он умеет дозировать свою ненависть, он для того сначала и ненавидит человека, чтобы потом легче было его возлюбить.
156. я не совершу глупости и не стану рекомендоваться «антигуманистом». Я просто НЕ гуманист, только и всего.
157. — На мой взгляд, — говорю я Самоучке, — людей так же невозможно ненавидеть, как невозможно их любить.
158. Самоучка смотрит на меня отдаленным, покровительственным взглядом. И шепчет, словно не отдавая себе в этом отчета:— Их надо любить, их надо любить...— Кого надо любить? Тех людей, что сидят здесь?— И этих тоже. Всех. Он оборачивается к сияющей молодостью парочке — вот кого надо любить. Потом созерцает седовласого господина. Потом переводит взгляд на меня, на его лице я читаю немой вопрос. Я отрицательно мотаю головой: «Нет». Он смотрит на меня с сожалением. — Да и вы сами, — раздраженно говорю я, — вы сами тоже их не любите. — В самом деле, мсье? Может быть, вы разрешите мне с вами не согласиться?
159. Слепцы гуманисты! Это лицо говорит так много, так внятно — но смысл лица никогда не доходит до их нежной абстрактной души.
160. — Но люди и в самом деле достойны восхищения. Трудно, мсье, очень трудно быть человеком.
161. — Извините, — говорю я, — но в таком случае я не вполне уверен, что я человек: я никогда не замечал, что быть человеком так уж трудно. Мне казалось: живешь себе и живи.

162. — Вы слишком скромны, мсье. Чтобы вынести свой удел — удел человеческий, вам, как и всем остальным, нужен большой запас мужества. Любая из грядущих минут, мсье, может стать минутой вашей смерти, и, зная это, вы способны улыбаться. Ну разве это не
163. достойно восхищения? В самом ничтожном вашем поступке, — язвительно добавляет он, — заложен неслыханный героизм.
164. — Сыр, — решаюсь я, призывая на помощь весь свой героизм.
165. По сути, он так же одинок, как я, — никому нет до него дела. Хотя он не отдает себе отчета в своем одиночестве. Ну что ж, не мне открывать ему глаза. Мне не по себе — я злюсь, это верно, но не на него, а на Виргана и иже с ним, на всех тех, кто отравил эти жалкие мозги. Будь они сейчас передо мной, у меня нашлось бы, что им сказать.
166. Мне хочется уйти, убраться туда, где я в самом деле окажусь НА СВОЕМ МЕСТЕ, на месте, где я прийдусь как раз кстати... Но такого места нет нигде, я лишний.
167. Люди. Людей надо любить. Люди достойны восхищения. Сейчас меня вывернет наизнанку, и вдруг — вот она — Тошнота.
168. Так вот что такое Тошнота, значит, она и есть эта бьющая в глаза очевидность? А я-то ломал себе голову! И писал о ней невесть что! Теперь я знаю: я существую, мир существует, и я знаю, что мир существует. Вот и все. Но мне это безразлично. Странно, что все мне настолько безразлично, меня это пугает. А пошло это с того злополучного дня, когда я хотел бросить в воду гальку. Я уже собрался швырнуть камень, поглядел на него, и тут-то все и началось: я почувствовал, что он существует. После этого Тошнота повторилась еще несколько раз: время от времени предметы начинают существовать в твоей руке. Приступ был в «Приюте путейцев», а до этого, когда однажды ночью я смотрел в окно, а потом еще в воскресенье в городском парке и еще несколько раз. Но таким жестоким, как сегодня, он не был ни разу.
169. Но надо сделать движение, надо вызвать к жизни ненужное событие — ведь и крик, который вырвется у Самоучки, и кровь, которая потечет по его лицу, и то, что эти люди сорвутся со своих мест, — все лишнее, и без того хватает вещей, которые существуют.
170. Мне нет нужды оборачиваться, чтобы увериться в том, что они смотрят на меня сквозь стекло — смотрят на мою спину с удивлением и отвращением; они-то думали, что я такой, как они, что я человек, а я их обманул. Я вдруг потерял свой человеческий облик, и они увидели краба, который, пятясь, удирал из этого слишком человеческого зала.
171. НА САМОМ ДЕЛЕ море — холодное, черное, оно кишит животными; оно извивается под тоненькой зеленой пленкой, созданной, чтобы обманывать людей.
172. Все эти предметы... как бы это сказать? Они мне мешали. Я хотел бы, чтобы они существовали не так назойливо, более скупое, более абстрактно, более сдержанно.
173. ЛИШНИЙ — вот единственная связь, какую я мог установить между этими деревьями, решеткой, камнями. Тщетно пытался я СОСЧИТАТЬ каштаны, СООТНЕСТИ ИХ В ПРОСТРАНСТВЕ с Велледой, сравнить их высоту с высотой платанов — каждый из них уклонялся от связей, какие я пытался им навязать, отъединялся и выплескивался из собственных границ. Я чувствовал всю условность связей (размеры, количества, направления), которые я упорно пытался сохранить, чтобы отсрочить крушение человеческого мира, — они теперь отторгались вещами. Каштан впереди меня, чуть левее, — ЛИШНИЙ. Велледа — ЛИШНЯЯ... И Я САМ — вялый, расслабленный, непристойный, переваривающий съеденный обед и прокручивающий мрачные мысли, — Я ТОЖЕ БЫЛ ЛИШНИМ. К счастью, я этого не чувствовал, скорее я понимал это умом, но мне было не по себе, потому что я боялся это почувствовать (я и сейчас этого боюсь, боюсь, как бы это не подкралось ко мне сзади, со стороны затылка, не вздыбило меня взметнувшейся глубинной волной). Я смутно думал о том, что надо бы покончить счеты с жизнью, чтобы истребить хотя бы одно из этих никчемных существований. Но смерть моя тоже была бы лишней. Лишним был бы мой труп, моя кровь на камнях, среди этих растений, в глубине этого улыбчивого парка. И моя изъеденная плоть была бы лишней в земле, которая ее приняла бы, и наконец мои кости, обглоданные, чистые и сверкающие, точно зубы, все равно были бы лишними: я был лишним во веки веков.

174. Сейчас под моим пером рождается слово Абсурдность совсем недавно в парке я его не нашел, но я его и не искал, оно мне было ник чему: я думал без слов о вещах, вместе с вещами.
175. О, как мне выразить это в словах?
176. Эта чернота, эта аморфная вялая явь, переполняла собой зрение, обоняние и вкус. Но изобилие оборачивалось мешаниной и в итоге превращалось в ничто, потому что было лишним.
177. это нечто абсолютное, а стало быть, некая совершенная беспричинность. Беспричинно все — этот парк, этот город и я сам.
178. Существование — это не то, о чем можно размышлять со стороны: нужно, чтобы оно вдруг нахлынуло, навалилось на тебя, всей тяжестью легло тебе на сердце, как громадный недвижимый зверь, — или же ничего этого просто-напросто нет.
179. «Но к чему, — подумал я, — к чему столько существований, если все похожи друг на друга?» Зачем столько одинаковых деревьев? Столько потерпевших неудачу существований, которые упорно возобновляются и снова терпят неудачи, напоминая неловкие усилия насекомого, опрокинувшегося на спину. (Я и сам одно из таких усилий.)
180. Нашлись дураки, которые толкуют о воле к власти, о борьбе за жизнь. Неужто они никогда не смотрели на животное или на дерево? Вот этот платан с пятнами проплешин, вот этот полусгнивший дуб — и меня хотят уверить, что это молодые, рвущиеся к небу силы? Или этот корень? Очевидно, мне должно представить его себе как алчный коготь, раздирающий землю, чтобы вырвать у нее пищу?
181. ОНИ НЕ ХОТЕЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ, но не могли не существовать — вот в чем загвоздка.
182. все сущее рождается беспричинно, продолжается по недостатку сил и умирает случайно.
183. Я ничуть не удивился, я понимал, что это Мир, мир, который предстал передо мной во всей своей наготе, и я задыхался от ярости при виде этого громадного абсурдного существа. Нельзя было даже задаться вопросом, откуда все это берется и как все-таки получается, что существует какой-то мир, а не ничто. Вопрос не имел никакого смысла, мир был явлен всюду — впереди, позади. И до него ничего не было. Ничего. Не было такого мгновения, когда он не существовал. Вот это-то меня и раздражало: ведь ясное дело — не было НИКАКОГО смысла в том, что эта текучая личинка существует. Но не существовать ОНА НЕ МОГЛА. Это было непредставимо: чтобы вообразить небытие, надо уже оказаться здесь, в гуще этого мира, живым, с открытыми глазами; небытие — это была всего лишь мысль в моей голове, мысль, существующая и парящая в этой огромности: небытие не могло ПРЕДШЕСТВОВАТЬ существованию, оно было таким же существованием, как и все прочее, и появилось позднее многого другого.
184. Улыбка деревьев, зарослей лавра ДОЛЖНА ЖЕ БЫЛА ЧТО-ТО ОЗНАЧАТЬ; так вот она, истинная тайна существования.
185. Не успевала она устроиться в отеле — пусть даже на одну ночь, — она первым делом открывала чемодан и извлекала из него все свои богатства, которые развешивала на стенах, прицепляла к лампам, покрывала ими столы или пол в замысловатом и изменчивом порядке; не проходило и получаса, как самый заурядный гостиничный номер приобретал такую насыщенную, чувственную индивидуальность, что было почти неважно.
186. И мне вдруг совершенно расхотелось что бы то ни было ей рассказывать. К чему? Тошнота, страх, существование... Пусть лучше все это останется при мне.
187. — Да, я рада, что ты остался прежним. Если бы тебя переставили на другое место, перекрасили и вкопали в землю на обочине другой дороги, я потеряла бы ориентир. Ты мне необходим: я меняюсь, но ты, таков уговор, должен оставаться, каким был. Глядя на тебя, я могу измерить, насколько изменилась я сама.
188. — Знаю. Знаю, что больше никто и ничто не сможет внушить мне страсть. Понимаешь, начать кого-нибудь любить — это целое дело. Нужна энергия, любопытство, ослепленность... Вначале бывает даже такая минута, когда нужно перепрыгнуть пропасть: стоит задуматься, и этого уже не сделаешь. Я знаю, что больше никогда не прыгну.

189. Глупо все время оставаться стойком — растратишь себя по пустякам. — Она улыбается. — А в некоторых случаях надо быть даже БОЛЬШЕ чем стойком.
190. Я не похожа на тебя, мне вовсе не нравится, что кто-то думает так же, как я.
191. Что я могу ей ответить? Разве я знаю, зачем мы живем? Я не отчаиваюсь, как она, потому что никаких особых надежд я не питал. Скорее я... удивлен жизнью, которая дана мне ради — ради НИЧЕГО.
192. Передо мной сидит Анни, мы не виделись четыре года, и нам больше нечего друг другу сказать.
193. Может, я увижу ее через десять лет. А может, мы видимся в последний раз. Я не просто подавлен, оттого что расстанусь с ней, — мне жутко при мысли, что я снова окажусь в одиночестве.
194. Я боюсь городов. Но уезжать из них нельзя. Если ты рискнешь оторваться от них слишком далеко, тебя возьмет в свое кольцо Растительность. Растительность, протянувшаяся на километры и километры, ползет к городам. Она ждет. Когда город умрет. Растительность вторгнется в него, вскарабкается вверх по камням, оплетет их, проберется внутрь и разорвет своими длинными, черными щупальцами; она лишит отверстия света и повсюду развесит свои зеленые лапы.
195. Только теперь я понял, как надеялся в разгар моих страхов, приступов тошноты, что меня спасет Анни. Мое прошлое умерло, маркиз де Рольбон умер, Анни вернулась только для того, чтобы отнять у меня всякую надежду. Я один на этой белой, окаймленной садами улице. Один — и свободен. Но эта свобода слегка напоминает смерть.
196. Проиграл первый тур. Захотел сыграть второй — проиграл второй и проиграл партию. И при этом узнал, что проигрыш неизбежен всегда. Только подонки думают, что выиграли. Отныне, по примеру Анни, я буду жить как живой мертвец. Есть, спать. Спать, есть.
197. Сейчас мне скучно — вот и все. По временам я зеваю так сильно, что по щекам у меня катятся слезы. Это скука из глубочайших глубин, это глубинная суть существования, сама материя, из которой я сделан.
198. Мне противно думать, что я снова увижу их тупые, самодовольные лица. Они составляют законы, сочиняют популистские романы, женятся, доходят в своей глупости до того, что плодят детей.
199. Существование — вот чего я боюсь.
200. вечером, послезавтра вечером и все последующие вечера он будет усаживаться за этот стол и, подкрепляясь хлебом с шоколадом, терпеливо, как крыса, грызть науку, он будет читать произведения Набо, Нодо, Ниса, Нодье, время от времени отрываясь от них, чтобы внести в свою записную книжку какое-нибудь изречение.
201. Я не ревную, я знаю, что она живой мертвец. Даже если бы она любила его всем сердцем, все равно это была бы любовь умершей.
202. Я долго, беззвучно зеваю.
203. Забытое, заброшенное — среди стен домов под серым, пасмурным небом сознание. А смысл его существования вот в чем: оно сознает, что оно лишнее.
204. Но что мне это даст? Новую одежду? Женщин? Путешествия? Все уже было, а теперь конец — больше не хочется: какой от всего этого прок? Через год я окажусь таким же опустошенным, как сегодня, мне даже вспомнить будет нечего, а наложить на себя руки не хватит духу.
205. Я ведь прекрасно знаю, что ничего делать не хочу: что-нибудь делать — значит создавать существование, а его и без того слишком много.
206. Подумать только, есть глупцы, которые ищут утешения в искусстве. Вроде моей тетки Бижуа: «Прелюдии Шопена так поддержали меня, когда умер твой дядя». И концертные залы ломаются от униженных и оскорбленных, которые, закрыв глаза, тщатся превратить свои бледные лица в звукоулавливающие антенны. Они воображают, будто пойманные звуки струятся в них, сладкие и питательные, и страдания преобразуются в музыку, вроде страданий молодого Вертера; они думают, что красота им соболезнает. Кретины.

207. Все окружавшие меня предметы были сделаны из той же материи, что и я сам, — из своего рода гаденького страдания. Мир вне меня был так уродлив, так уродливы грязные кружки на столиках, коричневые пятна на зеркале и на переднике Мадлены, и любезная физиономия толстяка, любовника хозяйки, так уродливо само существование мира, что я чувствовал себя в своей тарелке, в своей семье.
208. наталкиваешься на сплошные существования, спотыкаешься о существования, лишённые смысла. Она где-то по ту сторону. Я даже не слышу ее — я слышу звуки, вибрацию воздуха, которая дает ей выявиться. Она не существует — в ней нет ничего лишнего, лишнее — все остальное по отношению к ней. Она ЕСТЬ.
209. Я тоже хотел БЫТЬ. Собственно, ничего другого я не хотел — вот она, разгадка моей жизни;
210. Она поет. И вот уже двое спасены — еврей и негритянка. Спасены. Быть может, сами они считали себя безнадежно погибшими, погрязшими в существовании. И однако, никто не способен думать обо мне так, как я думаю о них, — с такой нежностью.
211. Негритянка поет. Стало быть, можно оправдать свое существование? Оправдать хотя бы чуть-чуть?
212. Нет, книга должна быть в другом роде. В каком, я еще точно не знаю — но надо, чтобы за ее напечатанными словами, за ее страницами угадывалось то, что было бы не подвластно существованию, было бы над ним. Скажем, история, какая не может случиться, например сказка. Она должна быть прекрасной и твердой как сталь, такой, чтобы люди устыдились своего существования.
213. Если бы я был уверен в своем таланте...

Конец текста